

Да, каждый такой «укол», конечно, его ранит, не может не ранить. Но он никогда не жалуется, никогда не подает виду. Его реакция — работать еще интенсивнее, еще больше, еще неистовее и ... радоваться жизни. Он никогда не говорит об этом в семье (мы узнаем многое из «того» или случайно, или от сотрудников, или вообще спустя много лет после его смерти, разбирая документы в архивах), чтобы не огорчать близких. От любых превратностей судьбы он лечился работой (в лаборатории или за письменным столом, писал ранним утром, до ухода в институт, свои книги, ставшие на долгие годы настольными для иммунологов, вирусологов и онкологов), общением с друзьями в домашнем кругу. Он был идеалист, романтик, люди часто казались ему лучше, чем они были на самом деле. Об одном отъявленном мерзавце он сказал: «Станный человек...». Конечно, после 7 лет тюрем и лагерей «недопризнание, «недопонимание», «недооценка» и все другие «недо...» должны были казаться ему мелочами, недостойными не только внимания, но и даже упоминания. Старая истина: все познается в сравнении.

В научной среде (как, впрочем, и во многих других) развиты зависть к чужому успеху, ревность к чужим достижениям. Зильбер, блестящий лектор, блестящий экспериментатор, весельчак и душа компании, верный друг — разве этого недостаточно для тайной и явной зависти, которая нередко переходит в ненависть. Всего этого хватало в жизни Льва Александровича, но не лишило его оптимизма, человеколюбия и способности радоваться жизни. Занимаясь всю жизнь иммунологией, он приобрел невосприимчивость к человеческим слабостям и порокам.

Ноябрь 1988 г. — февраль 1996 г. — октябрь 2003 г.

«Я — ПЛЮРАЛИСТ...»

(Наш собеседник — профессор Лорен Грэхэм)

Читателям нашего журнала профессора Лорена Грэхэма представлять не надо. С 1996 г. он является членом международного редакционного совета. Он автор нескольких весьма примечательных публикаций на страницах «Вопросов истории естествознания и техники»¹. Многократные визиты Л. Грэхэма в нашу страну, по крайней мере с 90-х гг. прошлого столетия, отражаются либо в хронике важных событий профессиональной жизни, либо находят выражение в виде публикаций — всегда новаторских, содержательных и поучительных.

Труды Л. Грэхэма занимают совершенно особое место в историографии истории науки в России. Почти полвека он пристально изучает интеллектуальную историю нашей страны, скрупулезно собирая факты, выстраивая их в логические связи, ставя важнейшие вопросы о характере и специфике научно-технического развития России и отвечая на них с такой степенью полноты и убедительности, которой до сих пор мало кто достигал. Этот ученый по праву занимает одно из главных мест в социальной истории науки в России.

И у нас, и за рубежом немало замечательных специалистов по истории науки в России, авторов крупных исследований. Однако почти все, даже самые обширные, труды посвящены дисциплинарной истории науки либо изучению отдельных проблем, включая и такие глобальные, как атомный или космический проекты в СССР и т.д. Творчество Л. Грэхэма на этом фоне отличается и глубиной, и, главное, широтой охвата. Историк науки Лорен Грэхэм в своей работе сочетает практически безупречную фактографичность с исключительной широтой контекстуального анализа, традиционализм классического историко-научного анализа и глубоко новаторские формулировки исследовательских программ.

Его книги² читаются, собранные в них данные и интерпретации активно используются, в том числе в учебном процессе, с его выводами соглашаются либо оспаривают их, считая, например, что есть темы и сюжеты, разработка которых недоступна для человека иной культурно-языковой традиции, по своему происхождению не являющегося носителем так называемого специфического менталитета.

Жизнь ученого, ее «видимая» часть представлена в его книгах, статьях, докладах, в работах учеников и продолжателей. Заглянуть во внутренний мир ученого, узнать об обстоятельствах его личной жизни, зачастую оказывавших решающее влияние на его формирование как исследователя, можно с помощью весьма ограниченных средств — изучая его дневники, мемуары, письма (разумеется, если они существовали и сохранились) — вот, пожалуй, и все. В послед-

¹ Грэхэм Л. Социально-политический контекст доклада Б. М. Гессена о Ньютоне // Вопросы истории естествознания и техники. 1993. № 2. С. 19–31; Он же. Устойчива ли наука к стрессу? // Вопросы истории естествознания и техники. 1998. № 4. С. 3–17.

² На русском языке изданы следующие книги Л. Грэхэма: Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М.: Политиздат, 1991; Очерки истории российской и советской науки. М.: Янус-К, 1998; Призрак казненного инженера: технология и падение Советского Союза. СПб.: Европейский Дом, 2000.

нее время, в условиях усиления интереса к контекстуальной истории, к истории повседневности, антропологическому измерению науки, все большее внимание привлекает такой специфический метод, как специализированное устно-историческое интервью. Сам по себе этот метод известен давным-давно и множество раз применялся историками и социологами. Однако появление современных аудиовизуальных средств записи и сохранения информации, совершенствование исследовательских технологий и непрерывное формирование новых задач в изучении развития науки и ее творцов дают новый импульс устной истории науки. В последние годы (для меня — с октября 1991 г.) появилась возможность непосредственно, напрямую общаться с профессором Грэхэмом, и постепенно возникло желание более подробно побеседовать с историком науки такого масштаба.

«Друзья познаются в беде», — гласит старая и верная поговорка. Узнав, что над ИИЕТ РАН обозначилась угроза переезда, и крайне обеспокоившись этим, Л. Грэхэм в мае 2003 г., будучи по своим делам в Москве, нашел время посетить наш институт и предложить любую возможную помощь в сохранении института, фондов научной библиотеки, архива и проч. Он предлагал разные варианты, включая организацию письменных обращений крупных ученых и историков науки в поддержку деятельности ИИЕТ РАН. В этом, как мне представляется, выразились не только тревога и обеспокоенность ученого за судьбу своих коллег (развитое корпоративное чувство и профессиональная солидарность особенно характерны для западной научной традиции), но и специфические особенности личности именно этого человека, отличающегося редкой глубиной и полнотой знаниями и пониманием российского прошлого и настоящего...

«Нет худа без добра», — гласит другая столь же верная поговорка. В этот неожиданный визит Л. Грэхэма в институт он любезно согласился уделить нам несколько часов своего времени и дать интервью. Утром следующего дня, 22 мая, и состоялась памятная встреча.

Не могу сказать, что я в полной мере удовлетворен беседой: многие сюжеты и детали, касающиеся обстоятельств жизни и деятельности ученого, оказались за рамками диалога, ряд вопросов не получил подробного ответа, выбор иллюстраций для публикации оказался не столь велик, как хотелось бы...

Тем не менее беседа с профессором Грэхэмом — большая удача. В ходе подготовки интервью к публикации я неоднократно перечитывал текст, и мне самому было интересно. Надеюсь, что и читатели разделят это мнение.

С. Илизаров

— Профессор Лорен Грэхэм — имя очень известное среди российских историков науки. Я давно хотел попросить вас рассказать о себе. Нам интересно все. Мы работаем над проектом по устной истории науки³, который состоит как бы

из двух частей. С одной стороны, мы опрашиваем ученых, работающих на переднем крае науки. А с другой стороны, есть «внутренний» проект:

³ Речь идет о проекте по устной истории науки и техники, который в настоящее время

выполняется в Информационно-аналитическом центре «Архив науки и техники» ИИЕТ РАН при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта № 02-06-80252).

мы просим историков науки рассказать о себе...

Этот разговор, интервью, будет во второй части, да?

— *Да, и наибольший для нас интерес имеет ваш жизненный опыт, опыт историка науки.*

Я родился в 1933 году, 29 июня.

— *Скоро юбилей!*

Да. Скоро.

— *Если можно, расскажите о себе, о своей семье. Происхождение, первые детские воспоминания ...*

Я родился в очень маленьком поселке в центральной части Соединенных Штатов. Его население всего 250 человек. Крохотный поселок в штате Индиана. Я жил в семье с очень скромным достатком. Мой отец был учителем гимназии. В нашей семье была, можно сказать, традиция — получать инженерное образование. У меня три брата, и все они инженеры. И когда я был молодым человеком, я даже не представлял себе, что есть и другие возможности. Поэтому в 1955 году я получил диплом инженера-химика в Университете Пирдью в штате Индиана (Purdue University). Потом я три года служил в Военно-морском флоте. В этот период, а точнее в 1957 году, случилось очень крупное событие, повлиявшее на отношения между Америкой и СССР. И на весь мир. Это был спутник. И в Америке вдруг появился большой интерес к естествознанию, к технике в СССР. Но почти никто ничего об этом не знал. И я решил стать историком естествознания и техники. В особенности меня интересовала история естествознания в России. С тех пор это моя область. У меня по этой теме было довольно много аспирантов. И я думаю, что в Америке сейчас около двадцати ученых, которые знают русский язык и тоже специализируются на истории естествознания в России. И многие из них — мои бывшие аспиранты. Есть и исключения, например Марк Адамс, мой хороший друг:

он никогда не был моим аспирантом. Но большинство этих ученых — были.

После того как я начал изучать историю естествознания в России, я понял, что это очень-очень интересный предмет. Начиная со времен Петра Великого: Академия наук, Ломоносов, Лобачевский, Менделеев, Сеченов и много других. И хотя история естествознания в России является частью общей истории естествознания, — так как наука интернациональна, — я заметил, что в России есть очень интересные особенности, которые отличают ее от Америки или других стран. И это мне очень-очень интересно. Вопрос почти всей моей жизни, первый вопрос, был: «В какой степени наука в России похожа на науку в других странах, и в какой степени она отличается?» И это, по-моему, вопрос не только о России. Это вопрос о естествознании вообще. Я находил эти различия, нюансы — и благодаря этому замечал различия и нюансы науки в Америке, которых, если бы у меня не было такого опыта, никогда бы не заметил. И я почти уверен, что если бы я был историком естествознания Америки или Западной Европы, то, с учетом такого опыта, я стал бы более квалифицированным историком, потому что сейчас я стал очень «sensitive-ным», восприимчивым к таким различиям и нюансам. Это вопрос, который мне очень-очень интересен.

— *Перебивать вас можно?*

Да. Пока все ясно? Извините за мой неловкий русский язык, но...

— *Все абсолютно ясно. Можно все-таки возвратиться к началу, к ранним этапам вашей жизни?*

Хорошо.

— *Америка — государство, население которого собралось из разных стран. Все сюда откуда-то приехали. Ваши родители, ваши предки — они откуда?*

Мои предки... Это интересный, но сложный вопрос. Моя фамилия «Грэ-

хэм» — из Шотландии. Она появилась в Америке примерно в 1730 году — значит, более двухсот лет тому назад. И конечно, с тех пор было очень много свадеб. Почему считается, что мои предки только из Шотландии? Жены на этих свадьбах были из Швейцарии, Англии, Германии... Поэтому я не могу ответить однозначно на этот вопрос. Но фамилия происходит из Шотлан-



Л. Грэхэм во время беседы с С. Илизаровым
в ИИЕТ РАН. 22 мая 2003 г.
Фото М. В. Мокровой

дии. Как я понимаю, никаких предков из России не было.

— *Не было? А я как раз хотел спросить, но вы опередили... Каковы были религиозные традиции в вашей семье?*

Ну, я слышал, — и это был для меня большой сюрприз, — что мои предки в Шотландии были католиками, но в Америке они, кажется, передумали (*смеется*) и стали протестантами. Что же касается вопроса о моем личном отношении, — я не религиозный человек.

— *И в вашей семье, когда вы были маленьким, не было религиозности?*

Да, мой отец ходил в церковь, но это не оказало на нас сильного влияния.

— *Скажите, пожалуйста, вот вы уже подчеркнули, что на ваш выбор жизненного пути повлияли 1957 год, спутник и все то, что за этим последовало...*

Наверное.

— *Очевидно, глобальные исторические события не могли не влиять на вашу жизнь, жизнь вашей семьи. Во флоте вы служили в 1950-е годы, то есть в те времена, когда шли войны в Корее, Вьетнаме, когда случился Карибский кризис и др. Это сильно влияло на вашу жизнь?*

В политике я либерал. Это значит, что когда шла Вьетнамская война, я был против этой войны. В тот момент я был гражданским лицом, не состоял на военной службе. Но я числился офицером запаса, у меня было звание лейтенанта Военно-морского флота. И в знак протеста против войны во Вьетнаме я отказался от своего звания и уволился из запаса, потеряв в результате военную пенсию. Я даже принимал участие в демонстрациях против этой войны. И с 1963 или 1964 года я не имею никакого отношения ни к Военно-морскому флоту, ни к каким бы то ни было другим государственным службам. Я — только профессор. Но я помню очень интересный случай.

Когда я служил во флоте, в Средиземном море, мы иногда затевали «игры» с советскими подводными лодками. Мы старались перехитрить друг друга, занять более выгодную позицию. Это были очень серьезные игры. Одна из таких «игр» между моим кораблем и подводной лодкой Советского Союза продолжалась три дня. Как выяснилось позднее, на этой лодке служил Борис Игоревич Козлов, который раньше был директором вашего института.

— *Ваша морская специальность?*

Связист.

— *Но у вас инженерно-химическое образование, верно?*

Да, но после этого я получил степень доктора по истории естествознания в Колумбийском университете в Нью-Йорке. До двадцати пяти лет я не знал ни одного слова по-русски.

— *Расскажите, пожалуйста, о своих учителях. Одного из них вы называете, насколько я помню, в книге о русском инженере Петре Пальчинском — она посвящена Виктору Альбьоргу.*

Виктор Альбьорг был не только моим учителем, когда я был студентом. Он также отец моей жены. Значит, можно сказать, что я fall in love — как сказать? Я любил... Fall in love... Студентом я любил три вещи: учителя Виктора Альбьорга, его дочку (*смеется*), которая стала моей женой, и его курс «История Европы», в котором много говорилось о России.

— *Это ваш главный учитель или у вас были и другие учителя — в жизни, в науке, в истории науки?*

После того как я стал аспирантом в Колумбийском университете, конечно, были учителя, которые сыграли очень важную роль в моей жизни. Но должен сказать, что в Колумбийском университете не было ни одного профессора, который знал бы историю естествознания в России. Они были специалистами по истории России, политической истории и так далее. Я был

первым в этом университете, кто хотел специализироваться в истории естествознания в России. Среди этих профессоров — Александр Даллин (Alexander Dallin). Может быть, вы помните, что его отец, Давид Даллин, который уже давно умер, был лидером меньшевиков и после революции эмигрировал в Америку⁴. Другие профессора — историк Генри Робертс (Henry Roberts), философ естествознания Эрнст Нейгл (Ernest Nagel), Александр Эрлих (Aleksandr Erlich) (его отец был лидером рабочей партии в Польше). Литературу преподавал Руфус Мэтьюсон (Rufus Mathewson). Во время учебы в аспирантуре я брал курсы по истории России, по российской литературе, но курсов по истории науки в России не было. Я изучал ее сам.

— *То есть история науки в России — это ваш личный выбор, и вам никто не подсказывал...*

Да. Это мой выбор. Но и я, и мои профессора думали, что если я хочу понять историю естествознания в России, надо знать общую историю России.

⁴ Александр Даллин (21 мая 1921, Берлин — 10 августа 2000, Стэнфорд) — специалист по истории СССР, окончил Колумбийский университет и в 1965 г. стал там профессором по международным отношениям, был директором Русского института при Колумбийском университете, директором Центра изучения России и Восточной Европы в Стэнфорде, являлся президентом Международного совета по изучению СССР и стран Восточной Европы, консультантом правительства США по вопросам внешней политики. В 1984 г. при его помощи в Ленинграде был создан Европейский университет. Отец Александра Даллина, Давид Даллин — российский революционер, принадлежал к фракции меньшевиков, отделившейся от ленинской фракции большевиков в 1903 г. В 1921 г. был вынужден эмигрировать в Германию. В 1940 г. он был вынужден эмигрировать вторично — из гитлеровской Германии в США. В Америке Давид Даллин был известен как автор книг и статей о Советском Союзе.

— *Первый раз в Москву, в СССР вы приехали в 1960 году?*

Да. Осенью 1960 года.

— *В Московский университет?*

В МГУ я был аспирантом-стажером в течение академического года, то есть девять или десять месяцев. Моим научным руководителем была профессор Бессонова⁵. Она была историк и очень хорошая женщина, но ничего не знала об истории науки в России. Она очень хорошо знала историю России, но мой предмет был ей незнаком. А надо сказать, это был второй год научного обмена между нашими странами, и я видел, что Бессонова нервничала. По-русски можно говорить «нервничала»? Она нервничала потому, что у нее был аспирант из США. Первый раз, когда я встретил ее, она спросила: «Ну, господин Грэхэм, как идет ваша работа?» И я честно ей ответил: «Я работал в Библиотеке имени Ленина, я работал в Библиотеке имени Горького, я сделал то, я сделал это...». После чего она вдруг заявила: «Хорошо. У меня для вас есть домашнее задание». Это был сюрприз: мне было уже 27 лет, и я думал, что «домашнее задание» — это для студентов. Но я не возражал. И сказал: «Хорошо. Какое?» «Вам надо прочесть эти работы Маркса, Энгельса, Ленина, и в следующий раз я хочу услышать от вас отчет». Я очень внимательно записал все страницы из Маркса, Ленина и Энгельса, которые она рекомендовала мне прочесть. И в следующий раз, когда она спросила: «Ну, господин Грэхэм, как идет работа?», я честно рассказал, какие книги по истории науки я прочел, но не сказал ни единого слова о «домашнем задании». И она всегда говорила: «Хо-

рошо. У меня для вас есть еще одно домашнее задание». — «Хорошо». — «Еще из Маркса-Ленина». И так продолжалось целый год. Каждый раз она давала мне это домашнее задание, каждый раз я не читал ни одного слова из предложенного ею, и каждый раз я честно говорил ей об этом, а она всегда отвечала: «Хорошо, у меня есть другое домашнее задание». Она, очевидно, делала то, что считала необходимым. Я честно отвечал. Как это ни странно, но в результате между нами возникло взаимное уважение, потому что мы оба без слов хорошо понимали, что происходит. И в течение многих лет каждый раз, когда я посылал ей по почте свою новую статью или книгу, она неизменно отвечала: «Большое спасибо, профессор Грэхэм!» Это были хорошие отношения, основанные на негласном соглашении.

— *Скажите, пожалуйста, какие у вас были первые впечатления об СССР — позитивные, негативные, нейтральные? Как вы воспринимали тогда нашу страну? Как объект изучения?*

Ну, если мы говорим о советском режиме, о государстве... Я был аспирантом МГУ, общался с друзьями, и мне вскоре стало ясно, что жить при таком режиме не очень приятно. Я узнавал о разных неприятных ситуациях с политической подоплекой, в которых часто попадали мои друзья или члены их семей. Но если мы говорим не о государстве, если мы говорим о русских, то они очень хорошие люди. И я скоро понял, что имеют в виду на Западе, когда говорят, что дружба в России — это нечто другое, чем в Америке. Может быть, это происходит как раз из-за такого политического положения, я не уверен в этом, но отношения между друзьями в России ближе, чем в Америке. Должен признаться, что мне очень симпатичны русские.

— *Скажите, пожалуйста, вот*

⁵ В. И. Бессонова — преподаватель кафедры истории СССР периода социализма, специалист в области истории высшей школы, истории МГУ. См.: Историческая наука в Московском университете (1934–1984). М.: МГУ, 1984. С. 36–79.

о чем. В последнее время в рамках проблемы «профессия — историк науки» меня интересует тематический аспект, и потому я стараюсь спрашивать у собеседников-историков науки о том, как в их практике происходил поиск и выбор исследовательских тем? Вы сами определяли темы исследований, или вам их подсказывала жизнь, или ваши учителя, коллеги?

Мы говорим о темах диссертаций?

— *Диссертаций, книг, статей... Темы вообще — как актуальный исследовательский поиск, как научный поиск.*

Конечно, когда я был аспирантом, мне надо было писать диссертацию. Я написал магистерскую диссертацию по химии, так как был инженером-химиком. В конце сороковых — начале пятидесятих годов в Советском Союзе шли споры о строении молекулы и о теории резонанса. Были большие споры, и эти споры были идеологическими. Я написал об этом магистерскую диссертацию. И во время работы над ней я заметил, что споры идут и во многих других областях: в физике, в биологии, даже в геологии, в астрономии и так далее. Я захотел написать большую книгу обо всех этих спорах. Но когда я сказал своим профессорам в Колумбийском университете, что хочу писать докторскую диссертацию на такую тему, они сказали: «Это невозможно, это громадная тема, вы будете аспирантом двадцать лет. Нет, мы не принимаем такую тему. Надо выбрать маленькую тему, которую вы сможете сделать через два года». Ну, и я передумал. Я не оставил свою идею, но лишь на время отложил ее, сменив тему. Я выбрал историю Академии наук СССР в 1927–1932 годах, потому что, как вы хорошо знаете, это было время, когда Академия была, можно сказать, «советизирована»...

— *Была большевизация.*

Да. И я выбрал такую тему. Написал

по ней диссертацию, и она была опубликована в США. Но после того как я это сделал и получил свою первую должность в университете, я вернулся к той, более ранней, теме. И написал очень большую книгу, на которую ушло десять лет исследований. Эта книга называется «Science and Philosophy in the Soviet Union». Она получила приз в Америке и в конце концов была опубликована здесь, в СССР.

— *Вы уже давно общаетесь с историками науки в СССР, России. Скажите, есть ли разница в подходах, в методах, в качестве работы между американскими историками науки и российскими... ну, разумеется, хорошими специалистами...*

Да, есть такая разница. В советские времена очень часто ваши историки писали, по моему мнению, полезные, но слишком узкие работы. Узкие в том смысле, что они не рассматривали социальный контекст науки. Эти работы были по истории химии или физики, но — довольно узкие. Полезные, но узкие. И это было загадкой для меня, потому что традиции социальной истории естествознания зародились именно здесь, в России. В 1931 году на конгрессе историков науки в Лондоне Борис Гессен прочитал доклад о Ньютоне и английском обществе, и в этом докладе он много говорил о социально-экономической истории. Но позднее, как я заметил, эта традиция здесь оборвалась, и я понял почему. Мне кажется, что те люди, которые писали книги на социальные темы, в годы сталинизма очень часто имели из-за этого проблемы, потому что это касалось политики. Чтобы избежать осложнений, они писали на узкие темы. Но после распада Советского Союза, как я заметил, положение изменилось. Сейчас уже имеется довольно много работ российских историков по социальной истории науки. Может быть, это немного нескромно, но порой мне думается, что в 1970–80-е годы я напи-

сал те книги, которые российские историки науки хотели написать, но не могли...

— *Да, это так. Когда я даю студентам литературу по истории науки в России, в СССР, мне приходится рекомендовать ваши книги, потому что ничего сопоставимого на русском языке нет. Тут вы правы. Но правильно ли я вас понял, что обобщающие, широкие исследования более ценны, чем локальные?*

Я думаю, что должно быть и то, и другое. Если ограничиваться только обобщающими или только локальными исследованиями, это будет неправильно.

— *Тогда в этой связи у меня возникает вопрос: профессия «историк науки»... Как, где и с какого времени можно обучать истории науки? У нас в высшей школе истории науки как профессии не учат. В ряде вузов имеются лекционные курсы для студентов, но как подготовить профессионала, каким должно быть базовое образование у будущего исследователя — историка науки — естественно-научным, историческим, гуманитарным? Эта сфера деятельности очень избирательна... С вашей точки зрения, какие нужны качества, какие знания необходимы историку науки?*

Так как я считаю, что существуют разные виды истории естествознания и все они, или почти все, ценные, важные, я думаю, что нет единого ответа на такой вопрос. По-моему, должны быть историки науки, которые получили естественно-научное образование и много знают о науке. И должны быть историки науки, которые получили гуманитарное образование. Я — плюралист во многих отношениях. Я плюралист в политике, в образовании, в исследованиях. Много раз в своей жизни я замечал, что если существует плюрализм, если сосуществуют разные люди и подходы — и в политике, и в образо-

вании, и в исследованиях, — то и результат от этого будет богаче.

— *Вот и название для публикации: «Я — плюралист!» Можно так и назвать публикацию этой беседы ...*

Да, я — плюралист! Это качество намного важнее, чем тип образования. Например, на Западе один из самых известных историков науки — это Руперт Холл (Rupert Hall). Он написал чудесную историю естествознания. Откровенно говоря, я думаю, что он почти ничего не знает о технических аспектах естествознания: он получил историческое образование. Но он был отличным историком, и у него был вкус к науке. С другой стороны, одним из самых известных историков в Америке был Томас Кун, он недавно умер. Он был моим хорошим другом и коллегой в университете. Кун был физиком. Он сделал все что нужно для получения степени доктора по физике, кроме диссертации. Он знал физику, как физик, знал ее очень хорошо. И он написал, может быть, самую известную работу по истории естествознания на Западе: «Структура научных революций» («The Structure of Scientific Revolutions»). Руперт Холл и Томас Кун, получившие столь разное образование, по-моему, — хорошие примеры того, что плюрализм очень нужен.

Вы спросили о курсах по истории естествознания в Америке. Сейчас почти во всех больших университетах Америки есть, по крайней мере, один человек, а часто — два, три, четыре, — кто читает лекции по истории естествознания. Они могут работать на разных кафедрах, чаще всего на кафедрах истории, но иногда и на других, даже на кафедре физики. Или, например, в Университете штата Миннесота реализуется большая программа по истории естествознания. Все историки науки там распределены по разным кафедрам, разным факультетам: физики, биологии, инженерного дела и так да-

лее. В других университетах, например в моем университете, в Массачусетском технологическом институте (MIT — Massachusetts Institute of Technology), историки естествознания работают на кафедре STS — «Science, Technology, Society» («Наука, техника и общество»). Это показывает, что организация истории науки в США тоже разнообразна: еще один пример плюрализма.

Мне кажется, что такой плюрализм в организации историко-научных исследований придает этой области интеллектуальное преимущество, так как он защищает ее от монополии одного подхода. Кто-то считает, что история науки — это гуманитарная дисциплина, и им не нравится вторжение в эту область ученых-естественников. Замечательно, пусть эти люди проводят свою программу в жизнь в тех университетах, где историей науки занимаются на кафедрах истории. Другие полагают, что история науки должна быть более тесно связана с самой наукой. Хорошо, пусть они идут в такие университеты, как Университет штата Миннесота, или работают по программе STS, или на медицинских факультетах, где историки науки часто трудятся бок о бок с представителями естественно-научных и общественных дисциплин. Есть и другая группа — те, кто считает, что история науки должна быть близка к философии. Отлично, пусть эти люди защищают свою точку зрения в Университете штата Индиана, где функционирует единая кафедра истории и философии науки. Наконец, встречаются и такие, кто настаивает на том, что история науки должна быть неразрывно связана с историей техники. И для таких людей находится место — Университет штата Делавэр, где процветают исследования по истории техники с активным участием специалистов-инженеров. Именно из такого разнообразия подходов возникает мощный фронт исследований по истории науки.

— *В общем плане и у нас в вузах сходная ситуация; на общегосударственном уровне принято решение об обязательном экзамене для всех претендующих на ученую степень кандидата наук — экзамен по истории и философии науки (по специальности), но реальная профессиональная подготовка историков науки осуществляется по аспирантским программам, и пока это происходит в основном в ИИЕТ РАН. Скажите, пожалуйста, профессор Грэхэм, студенты изучают историю науки по выбору, или в Америке это обязательная программа?*

Я думаю, что буду прав, если скажу, что нет ни одного университета, где это обязательно. Может быть, где-нибудь есть исключения, но я почти уверен, что в целом положение такое.

— *Но профессора по истории науки без работы не остаются? Всегда есть слушатели?*

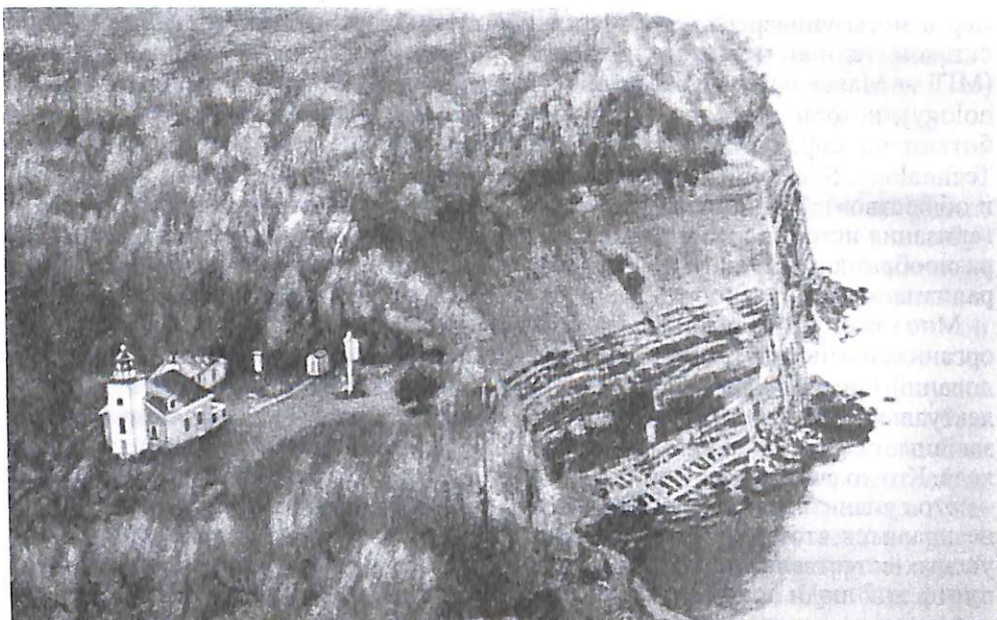
Да, есть.

— *То есть интерес к истории науки имеется постоянно?*

Интерес есть. Но я должен добавить, что интереса больше в аспирантуре, чем среди студентов. Например, в Массачусетском технологическом институте, где я преподаю, большинство студентов — будущие инженеры. И так как программа образования для инженеров очень тяжелая, им довольно трудно, как они говорят, выкроить время на курсы по истории науки. И это значит, что в МТИ на таких курсах для студентов меньше слушателей, чем на курсах по истории науки для аспирантов. Потому что аспирант сам выбрал эту тему.

— *Понятно. Скажите, пожалуйста, как вы работаете, как организовано ваше рабочее место? Это офис в университете, в вашем доме?*

У меня есть два офиса. Один в Массачусетском технологическом институте и другой — в Гарвардском университете. Потому что, хотя мое пер-



Грэнд-айленд, озеро Верхнее

вое рабочее место в МТИ, уже почти двадцать лет я также читаю лекции по истории естествознания на кафедре истории науки в Гарвардском университете. Но должен сказать, что обычно в офисе я разговариваю со студентами, аспирантами, коллегами. Исследованиями я обычно занимаюсь в библиотеке или в архиве — в США или в России. Или работаю дома. Почему дома? Потому что там у меня уже все устроено: есть компьютер, быстрый доступ в Интернет — все это дома.

— *Я обратил внимание, что в ваших книгах имеется указание на то, где они были написаны: это — остров...*

Ну, это другой вопрос. У меня есть любимое место — остров на озере Верхнем, одном из самых больших озер в Америке.

— *И там ваш дом?*

Да, и этот дом маяк. Может быть, вы заметили (*показывает рисунок на своем галстуке*) — это маяк. Моя

жена и я тридцать лет тому назад купили старый ненужный маяк. Это очень уединенное место. Ближайший дом находится в пятнадцати километрах. Когда я сижу там, когда работаю, — вокруг абсолютно тихо. Нет телефона, нет даже электричества. И кажется, что в каждом дне не 24, а 34 часа. И если я работаю над книгой, то после того как собраны все материалы, все факты и у меня уже есть наметки и так далее — я еду на остров, чтобы писать. И поскольку это мое любимое место, каждый раз, закончив книгу, я пишу: Loren Graham. Северный маяк, Грэнд-айленд, озеро Верхнее (North Light, Grand Island, Lake Superior). Это не значит, конечно, что я сделал там всю работу. Это значит, что там был написан последний вариант.

— *А стихи вы тоже там пишете?*

Нет, стихов я не пишу. Есть поэт по имени Лорен Грэхэм, но это не я... Я написал одну популярную книжку, в которой есть стихи, но они написаны



Северный маяк — дом Л. Грэхэма

не мной. Это книга об истории острова. Она не имеет никакого отношения ни к России, ни к истории естествознания.

— *Это ваше увлечение, хобби?*

Это работа для души. Когда я пишу академические книги, книги по истории естествознания, моим эмоциям в них нет места. Я — объективный ученый (*смеется*), я пишу без эмоций. Сбор материала для моей книги об истории естествознания в СССР занял десять лет. Это была очень большая работа. За это время я побывал здесь в архивах и библиотеках, может быть, раз двадцать. А на эту маленькую кни-

гу об острове потребовался всего один год. И у нее было гораздо больше читателей, чем у большой книги (*смеется*). И один композитор два года тому назад даже написал симфонию на ее сюжет. Это было странно для меня: с одной стороны, конечно, очень приятно, что много людей читало мою маленькую книгу и композитор написал по ней симфонию... Но, с другой стороны, как ученый я понимал, что это лишь отражение интересов общества: такие романтические истории многим людям гораздо интереснее, чем моя любимая работа — история естествознания.

— Скажите, как называется ваша маленькая книга о маяке...

О, нет, она не только о маяке, хотя маяк там тоже... Она называется «A Face in a Rock. The Legend of the Grand Island Chippewa», и на русском языке это будет что-то в этом роде: «Лицо на скале. Легенда одного американского индейца». Это ясно?

— Да. А кто главный герой этой книги?

Главный герой — американский индеец: Powers of the Air — значит «Силы воздуха».

— Кроме поэзии, истории маяка, чем вы еще увлекаетесь?

Я коллекционер, собираю книги и гравюры. Особенно гравюры маяков. У меня — об этом нескромно говорить, но это правда — у меня самая большая коллекция гравюр маяков в мире. У меня, может быть, четыреста книг о маяках и, может быть, пятьсот оригинальных гравюр с изображением маяков. В Америке создается Музей маяков. Он еще только организуется, и я член совета попечителей этого учреждения. Он будет в Нью-Йорке. После моей смерти вся моя коллекция будет передана этому музею. У меня есть даже гравюры маяков России: на Балтийском море, на Тихом океане, Сахалине и так далее. Эти гравюры XIX века.

— Вы не издавали свое собрание гравюр в виде альбома? Не хотите издавать? Это не интересно?

Нет. Может быть, издам со временем. В Нью-Йорке будет выставка моих гравюр, но этого пока не случилось. Недалеко отсюда, в здании, где находится гостиница «Метрополь», есть первый антикварный магазин в России, и я знаю, что там продают гравюры. Я был там вчера и спросил: «У вас есть гравюры маяков России?» — «К сожалению, нет». Все гравюры российских маяков, что у меня есть, я купил за границей, некоторые даже в Париже...

— Сейчас у нас очень много людей, увлекающихся коллекционированием, и все раскупается. Потому и мало в продаже интересного и недорогого антиквариата.

Когда у меня началось это увлечение, гравюры были недорогими. Но несколько лет тому назад в Париже я зашел в магазин, где продаются гравюры на разные сюжеты. И продавец, не зная кто я, сказал: «Вас интересуют гравюры маяков? Мы слышали, что где-то есть человек, который собирает такие гравюры. Поэтому наши цены выросли». Значит, я пострадал по своей собственной вине (смеется).

— В своей работе, как я могу судить, вы часто использовали метод устной истории. Когда вы брали интервью, то записывали ручкой на бумаге или на диктофон?

С диктофоном я работал очень редко, потому что люди, особенно в советские времена, перед диктофоном нервничали. Тогда у меня был особый подход к устным интервью. Я хотел проинтервьюировать известных ученых: Фока, Капицу, Басова, Семенова, Тамма, Иоффе, даже Лысенко... Я говорил со всеми... И я заметил: если я посылал этим ученым письма или звонил по телефону и говорил: «Я, американский ученый, здесь, в Москве, и я был бы очень благодарен, если бы вы поговорили со мной», — они обычно не соглашались. И тогда я нашел другой подход: писал об этом ученом статью, а потом, когда был в Москве, брал эту рукопись и ехал в институт, где он работал. Например, Институт физических проблем — Капица. До этого момента я никогда не видел Капицу... Я отдавал свою рукопись секретарше и прикладывал к ней записку, в которой было сказано: «Дорогой академик Капица! (Или: Дорогой академик Фок!.. Дорогой академик Иоффе!..) Эта статья о вас вскоре будет опубликована в Америке. Если вы хотите внести в текст изменения или добавить что-

нибудь до того, как она будет напечатана, можно позвонить мне по телефону здесь, в Москве, и я буду очень рад с вами встретиться». Это каждый раз сбавывало, потому что когда ученые — гордые, амбициозные люди — понимали, что статья будет опубликована независимо от их согласия или несогласия, им не оставалось ничего другого, кроме как воспользоваться случаем повлиять на нее до публикации. И они всегда давали интервью. Например, я говорил с Лысенко. Это было очень интересное интервью. Он защищал свою позицию.

— *Эти интервью были важны в вашей работе?*

Очень важны. Очень. Потому что в советский период, когда было трудно достать «первоисточники», как раз интервью и служили такими первоисточниками. Когда я писал свои книги, такие личные материалы, как интервью, не были включены. Я писал историю. Но я только что закончил новую книгу, которая будет чем-то вроде мемуаров. И в этой книге я говорю о Лысенко, о Капице, о других ученых уже с точки зрения моего личного опыта.

— *Очень интересно. А вот история интервью с Кольманом...*

Кольман? Я его знал.

— *Я знаю. Я читал вашу статью. Вы с ним общались только на Западе или и здесь тоже?*

И там и здесь.

— *Большая была разница между разговорами здесь и там?*

Большая разница. Да, я говорил с ним здесь, в Советском Союзе...

— *На конгрессе, да?*

На конгрессе. Как вы об этом узнали?!

— *Я внимательно читаю работы профессора Грэхэма. Вы писали об этом, кажется, так: «Я был в 1971 году на XIII Конгрессе и разговаривал с Кольманом». Во второй раз вы его уже записывали на диктофон?*

Нет. Не было диктофона. Были заметки.

— *Он для нас загадка... Считается, что он главный гонитель математика Лузина. «Дело Лузина». Документов нет никаких, но историки математики уверены, что главным действующим лицом был Кольман. Я специально искал в некоторых архивах, куда не заглядывали историки, но пока не удалось найти никаких следов — ни подтверждающих, ни опровергающих это предположение.*

Я не уверен в этом, но если так, — не удивлюсь. Потому что он действовал таким образом несколько раз. Кольман, конечно, загадка. Как я понимаю, с одной стороны, в молодости он был искренним марксистом. Он был идеологом, борцом за марксизм. Искренним. И, по-моему, он сделал много неправильного. Но он верил в это. В его жизни было четыре периода: молодой искренний марксист, воинствующий идеолог, защитник науки от вульгарного марксизма и, наконец, разочаровавшийся эмигрант. Вы, наверное, знаете, что он был одним из первых, кто в пятидесятых годах защищал кибернетику.

— *Да, я писал об этом в 1998 году. В 1956 году Кольман выступил с публичной лекцией в обществе «Знание» в Политехническом музее, и тогда же была издана его брошюра «Кибернетика (О машинах, выполняющих некоторые психические функции человека)».*

Да. В пользу кибернетики. Кажется, это было началом изменений в нем.

— *Прозрения, да!*

Но когда он эмигрировал и я поговорил с ним в Америке, он уже перешел на другую сторону и стал напоминать прежнего Кольмана — воинствующего идеолога, но уже с прямо противоположными взглядами. И с Кольманом — непримиримым борцом против марксизма — я тоже был не согласен. Я ни-

когда не был марксистом, но знаю, что марксизм оказывал разнообразные воздействия на советскую науку — чаще всего негативные, но иногда и положительные. Сейчас я изучаю примеры влияния религии на науку, хотя я неверующий. Я не верую в марксизм, не верую в Бога, но признаю, что такие явления, такие факторы иногда влияют на естествознание.

— *Если не возражаете, вернемся к вопросам, затронутым в начале беседы. Вы отделяете историю естествознания от истории науки? Я правильно задаю вопрос?*

Вам так кажется, потому что по-английски есть разница.

— *Это я знаю, да.*

Но я хорошо понимаю, что по-русски разницы нет. В Америке, когда мы говорим «естествознание», мы имеем в виду физику, биологию, геологию и так далее. И то же о науке: у нас есть разница между естественными науками и гуманитарными науками. Science and Humanities. В немецком языке такой разницы нет, но в английском — есть.

— *Вы, конечно, знаете, что первоначально, когда в России история науки только возникала как научная дисциплина, академики Лаппо-Данилевский, Вернадский, Ольденбург — в общем, почти все, в том числе, много позднее, и академик Бухарин — рассматривали науку как определенную целостность, а понятие «история науки» включало и естествознание, и гуманитарные, и социальные науки, и даже теологию. Иначе говоря, история науки изначально рассматривалась как история человеческих знаний и мысли. Они масштабно мыслили. Вот Лаппо-Данилевский в 1917 году в Лондоне выступал с докладом об истории знаний в России...*

Я заметил в приемной вашего института на стенах две фотографии, два портрета: Вернадский и Вавилов. А почему не Бухарин?

— *Не знаю.*

Он тоже стоял у истоков вашего института. Очень известный человек.

— *Да, конечно.*

Почему нет Бухарина?

— *Не знаю. Мне трудно ответить на ваш вопрос, потому что...*

С точки зрения истории было бы справедливее, если бы и его портрет висел тоже.

— *Вы правы, но я считаю, что первый портрет, который должен висеть...*

Вернадский?

— *Нет. Лаппо-Данилевский. Это был великий русский историк, который...*

Я знаю.

— *Он был инициатором институализации истории науки в России...*

Да, он начал. Я согласен с вами.

— *И он задал те параметры и масштабы исследовательской историко-научной программы, которая в советское время большей частью оказалась утраченной...*

Лаппо-Данилевский, да, я хорошо его знаю.

— *При всем величии Вернадского — историка и организатора историко-научных исследований, он шел вслед за Лаппо-Данилевским.*

Правильно.

— *Вместе с ним, но после него.*

Правильно.

— *Поэтому в портретной галерее отцов-основателей Института истории естествознания и техники не хватает еще много кого.*

В самом начале нашей беседы вы упомянули про своих учеников. Это непосредственные ученики? У них научная карьера сложилась благополучно?

Мои бывшие аспиранты?

— *Да. Они все остались в истории науки? Все занимаются изучением истории естествознания?*

Да. Карл Холл (Karl Hall) — может

быть, вы знаете это имя — он историк физики. Сейчас он профессор в Центрально-Европейском университете в Будапеште. Майкл Гордін (Michael Gordin) — профессор Принстонского университета. Натан Брукс (Nathan Brooks) — он сейчас профессор в Университете штата Нью-Мексико. Пол Джозефсон (Paul Josephson) — профессор колледжа Колби в штате Мэн. Дуглас Уинер (Douglas Weiner) — профессор Университета штата Аризона, он занимается вопросами истории экологии. Кендалл Бейлс (Kendall Bailes), к сожалению, умер. Он был очень хорошим историком, профессором в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Линда Лубрано (Linda Lubrano) не историк, но специалист по науковедению. Она сейчас профессор в Американском университете в Вашингтоне. Слава Герович, который был аспирантом здесь, в вашем институте, потом стал моим аспирантом в Америке. Он сейчас работает в Массачусетском технологическом институте. И есть много других.

— *Можно говорить о научной школе Грэхэма?*

Я никогда не говорю о школе Грэхэма, но другие — говорят. Например, я стал членом Российской академии естественных наук. И, насколько помню, Николай Николаевич Воронцов писал для этого рекомендацию, и он говорил о школе Грэхэма. Мне кажется, что разговоры о школах чаще ведутся здесь, в России, чем в Америке. Если бы я был профессором в России, разговоры о школе Грэхэма были бы уместны. Но в Америке это звучит немного странно.

— *А науковедение... Вы сейчас упомянули, что один из ваших учеников — специалист в области науковедения.*

Да, несколько.

— *Науковедение — это принятое в Америке понятие?*

Да, но...

— *Я спрашиваю вас об этом потому, что у нас в среде самих науковедов были споры: состоялось или не состоялось науковедение как дисциплина? Или это тупиковая линия развития?*

Да, иногда по-английски мы говорим «science studies» («науковедение»), иногда «science policy studies» («изучение научной политики»). Это разные понятия.

— *Вы называли своих учеников... Если я правильно понял, это сплошь мужчины?*

Линда Лубрано — женщина.

— *А много среди ваших учеников женщин? Вообще можно задать такой вопрос, если он корректен: женщины в вашей жизни, женский вопрос в истории науки. Не очень понятен вопрос?*

Нет, это понятно. Конечно, другим об этом судить, но я считаю, что я — защитник женских прав. Моя жена — декан Гарвардского университета. Она тоже историк.

— *Патриция?*

Патриция Альбьорг Грэхэм. В Америке она, может быть, известнее, чем я. Она стала первой женщиной-деканом в Гарвардском университете и шестым профессором-женщиной в его истории. И мне кажется, что я уделяю немало внимания роли женщин в истории естествознания. Например, если вы читали мою общую историю естествознания в России, — на русском языке она называется «Очерки истории российской и советской науки», — вы видели там анализ роли женщин даже во время царского режима. Например, я пишу о Ковалевской, она была очень хорошим математиком, и о других женщинах. Я надеюсь, что люди, которые прочтут мою работу, увидят, что я внимательно отношусь к роли женщин в истории естествознания. Здесь я хотел бы добавить кое-что. Первый раз я приехал в Советский Союз в 1960 году. Тогда мне показалось, что положение

женщин в Советском Союзе лучше, чем в Америке. Например, моим научным руководителем была женщина — уже упомянутая Бессонова. Я видел довольно много женщин среди профессоров, среди исследователей в Академии наук и так далее. Но с тех пор, я должен сказать, ситуация в Америке намного улучшилась, а сейчас (может быть, это спорное замечание) я сказал бы, что положение женщин в Америке лучше, чем в России. Потому что у нас было очень мощное движение за права женщин. Моя жена была его активным участником.

— *Это понятно. Но, извините, много ли вы знаете женщин — очень крупных ученых?*

Здесь или там?

— *Вообще — в мире, в истории науки?*

Конечно! Конечно! Ковалевская...

— *Среди Нобелевских лауреатов много женщин?*

Мари Кюри...

— *Вот и все. Раз, два... Хватит пальцев одной руки.*

Но я хотел бы спросить вас: в чем причина такого положения? Если исследовательница не считается полноценным ученым, не имеет доступа к соответствующему лабораторному оборудованию, не имеет возможности обсуждать научные проблемы на равных с видными учеными, это препятствует ее профессиональному росту. Причина здесь не биологическая, а социальная. Но это положение меняется в лучшую сторону. Барбара МакКлинток (Barbara McClintock) из США получила Нобелевскую премию. И есть другие такие женщины. Я уверен, что если бы академический мир был более справедлив, положение женщин улучшилось бы. Есть предрассудки. Я видел это. У нас в Гарвардском университете есть что-то типа «Дома ученых» (Faculty Club), но это клуб только для профессоров Гарвардского университета. Там было две

двери. Главная дверь этого здания была для мужчин. А задняя дверь, очень маленькая, — для женщин. И когда моя жена, которая к тому времени уже стала профессором университета, шла в этот клуб, она должна была проходить через маленькую заднюю дверь. Это положение существовало до 1979 года.

— *Но это же дискриминация!*

Абсолютно! Нет другого слова! А если посмотреть на список действительных членов Российской академии наук, сколько там женщин?

— *Мало, очень мало.*

Мало. А если вы посмотрите состав Президиума Академии, — ни одной.

— *Ни одной, вы правы.*

Это предрассудки. Я не думаю, что такие предрассудки существуют только здесь, в России, или только там, в Америке. Они существуют везде.

— *А раздельные двери были только для мужчин и женщин или еще для каких-либо меньшинств?*

Нет.

— *Нет? То есть уже давно ничего такого...?*

Это хороший вопрос, но должен сказать, что до 1979 года этот вопрос даже не вставал, потому что в Гарварде просто не было чернокожих среди профессоров. Были чернокожие студенты, но не профессора. Сейчас есть несколько чернокожих профессоров, может быть, человек двадцать. Это не много, но это гораздо лучше, чем раньше.

— *Этой группе людей, как и женщинам, только социальные обстоятельства мешали войти в науку?*

Да.

— *Скажите, пожалуйста, вы много и давно занимаетесь историей науки, наукой вообще в нашей стране — собственно, всю свою научную жизнь занимаетесь только этим. Вопрос, который вы задали в статье, опубликованной у нас в журнале, — что важнее для науки: свобода или*



Патриция Альбьорг Грэхэм и Лорен Грэхэм

деньги? — стал практически хрестоматийным. Я сам теперь, ссылаясь на вас, ставлю его перед студентами на обсуждение. Какова ваша сегодняшняя оценка? Оценку на уровне 1998 года я знаю. Сегодняшняя оценка состояния науки в России? Перспективы? Академия наук, ее судьба? Какой вы ее видите исходя из вашего огромного опыта?

Были моменты, особенно первое время после распада Советского Союза, когда многие думали, что это смерть российской науки. А сейчас ясно, что наука здесь жива. И будет жить. Значит, самые пессимистические взгляды не оправдались. Я уверен, что наука в России не только жива, но будет жить, и будет занимать важное место. Однако, по-моему, она потеряла свой престиж, свое положение, и количество исследователей уменьшилось более чем наполовину от прежнего.

— Но прирост докторов и кандидатов наук выше, чем в Советском Союзе...

Значит, положение не совсем здоровое, потому что им трудно будет найти работу в науке. И в этом плане будущее науки в России неясно. Я считаю, что было бы лучше, если бы исследования проводились на высоком уровне не только в Академии. Я — за Академию. Я уважаю это учреждение, но было бы лучше, если бы в университетах также были исследовательские центры или, по крайней мере, их было бы больше, чем сейчас. В Америке мы начали понимать, что соревнование между университетами и государственными институтами по части научных исследований очень полезно. И соревнование между государственными университетами и частными университетами — тоже важно. Если бы меня спросили: «Где, в каких уч-

реждениях фундаментальная наука в Америке самая сильная?», — я бы ответил, что в университетах. Надо отметить, что некоторые университеты в США государственные, например Калифорнийский, Мичиганский, а некоторые частные, — например Гарвардский, Стэнфордский и так далее. И это хорошо, потому что иногда государственный университет может делать что-нибудь такое, чего частный университет не может, и наоборот. Государственные университеты быстрее отзываются на проблемы, которые приоритетны с точки зрения государственной политики, например национальная безопасность. Частные же университеты более независимы и могут заниматься исследованиями, которые укажут на ошибки, допущенные государством. У нас также есть государственные научно-исследовательские институты. Например, сеть национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health), Аргоннская национальная лаборатория (Argonne National Laboratory), Национальная лаборатория Ферми (Fermi National Laboratory), Национальная лаборатория в Лос-Аламосе (Los Alamos National Laboratory) и так далее. Это государственные институты. Они могут проводить исследования, которые трудно осуществить в университете. И наоборот. В этом, по-моему, богатство плюрализма.

— *Ваше мнение как историка науки в России: Академия наук в современном научном мире — это что-то совершенно особое?*

Да.

— *Она имеет перспективы, или ее необходимо коренным образом реформировать, оставив только название?*

Сразу после распада Советского Союза был период, когда казалось, что Академия наук потеряет свою исследовательскую базу и превратится в почетное научное общество по примеру

академий на Западе. В то время она подвергалась очень сильной критике. Но Академия наук продемонстрировала свою устойчивость, и теперь ясно, что будущие реформы будут эволюционными, а не революционными. Я надеюсь, однако, что реформы будут продолжаться, в том числе и усиление исследовательского сектора в университетах.

— *Вы не испугались тогда, что утрачивается предмет исследований и что вам теперь нечего будет делать как профессионалу?*

Нет. Я думаю, что наука — очень, очень сильный организм. Часто мы говорим, что наука — это деликатный организм, который легко убить... Не-е-ет! Например, я — профессор. Если бы администраторы мне сказали: «Профессор Грэхэм, у нас в университете мало денег, мы не можем платить стипендию или заработную плату как раньше. В будущем ваша заработная плата будет составлять одну треть от той, что была раньше». Конечно, я бы очень рассердился. Я бы сказал: «Это конец цивилизации. Это конец науке. Это конец естествознания. Я буду делать что-то другое». Но реально, на самом деле, я бы остался профессором. Почему? Потому что я люблю свой предмет. И я думаю, что большинство ученых поведут себя так же. Значит, наука — это очень выносливое предприятие. Возможно, кое-кто из тех ученых, которые здесь, в Советском Союзе или России, ушли из науки и сейчас продают автомобили или что-то в этом роде, — не всегда, но иногда — это люди, которые недостаточно любили свой предмет. Поэтому я думаю, что естествознание в России будет жить.

— *Вы знаете, у нас недавно, в самые тяжелые годы, когда финансирование было совсем плачевным, родилась горькая шутка: «Зачем ученым платить деньги? Они все равно ходят на работу. Надо с них брать деньги за то удовольствие, которое*

они получают, приходя и занимаясь наукой».

Все дело в том, какую науку вы хотите. Самую прогрессивную или только влачащую существование? Если государство хочет прогрессивную науку, которая дает результаты не изредка, но регулярно, — тогда, конечно, за это необходимо платить.

— *Скажите, пожалуйста, а кого из российских историков науки и техники вы могли бы выделить по качеству работы, по продуктивности? Вы знаете уже несколько поколений советских и российских историков науки, историков естествознания. Вы могли бы кого-либо отметить как наиболее вам интересных, наиболее результативных, наиболее ярких?*

Это сложный вопрос. Потому что если я назову только несколько фамилий, то наверняка упущу кого-то, кто в такой же мере заслуживает упоминания. Но я могу сказать, например, что работа Кузнецова об Эйнштейне хорошая.

— *Можно я задам вопрос по-другому? Не оценка этих людей, а работы историков науки, которые произвели на вас наибольшее впечатление. Кто был вам полезен в вашей работе? Так, наверное, будет корректней.*

Я помню многих: Фигуровский, Кузнецов, Кедров... Девять месяцев назад я был в Ростове и встретил там Юрия Жданова — очень интересный человек, неоднозначный. Он помогал мне. Я не могу точно ответить на этот вопрос, потому что в разные моменты жизни были разные люди, которые мне помогали. И я затрудняюсь дать общую оценку, это невозможно. Николай Николаевич Воронцов был биологом, но он также писал общую историю эволюционной биологии. Он был очень хороший человек.

— *Хорошо. Тогда вопрос о вас, о вашем творчестве. Какую свою работу, книгу, статью вы считаете наиболее важной для вас, для науки?*

На это я тоже не могу ответить. Об этом судить другим.

— *Хорошо. А что не реализовано в вашей исследовательской программе? Вот вы рассказывали, что когда вы начинали работать над докторской диссертацией, профессора Колумбийского университета настояли на фрагменте из общей истории науки в СССР. С тех пор вам удалось изучить все то, что когда-то вам представлялось актуальным и интересным? Или что-то остается, что вы еще не успели исследовать, что хотели бы изучить и о чем написать?*

Мне уже скоро семьдесят лет. В июне. Надо признать, что с течением времени возможности и силы человека меняются. Когда я был молодым, я хотел проникнуть, можно сказать, в самое сердце естествознания. Физика, биология и так далее. Я много написал об этом. Сейчас пришло новое поколение. Подчас они лучше знают свою конкретную предметную область, чем я. Надо на каждом этапе выбирать такой предмет исследований, на который у вас еще есть силы. Надо найти тему, которую, как вы думаете, вы можете сделать лучше других. Сейчас мне кажется, что такая тема для меня (хотя для историка это довольно странно) — судьба естествознания непосредственно перед распадом Советского Союза и сразу после этого, в особенности за последние пятнадцать лет. И сейчас я пишу книгу об этом. Но я решил, что делать этот проект одному не совсем правильно. Раньше, во времена Советского Союза, было практически невозможно тесно сотрудничать с коллегами из России. Было много препятствий. А сейчас таких препятствий почти нет. И я решил: если я сейчас хочу писать такую книгу, о судьбе науки в России после распада Советского Союза, будет гораздо лучше, если я сделаю это вместе с российским коллегой. И в результате в этом проекте

со мной сотрудничает Ирина Дежина. Она не историк, а экономист. Но она много знает о таких вещах, как утечка мозгов, и об экономике науки. И это сейчас очень важная задача, потому что тема «Что важнее: деньги или свобода?» играет здесь важную роль. Я написал заявку на грант в наш Национальный научный фонд (National Science Foundation). А правила здесь такие: иностранец не может самостоятельно получить деньги от нашего Национального фонда, но если американский ученый подает совместную заявку с российским ученым, то это возможно. И я подал заявку. И мы получили грант. На два года. Эта работа сейчас только начинается. Мы с Ириной будем писать книгу о судьбе естествознания в России после распада Советского Союза и о влиянии на него западных фондов.

— *А ваши мемуары сейчас на какой стадии? Я правильно понял, что вы пишете воспоминания? Пишете или написали уже?*

Уже.

— *Уже все написано и завершено?*

Да, но они не опубликованы.

— *А вы предполагаете их опубликовать?*

Да, наверное.

— *А по-русски? Это же важнее для нас, чем для американцев, разве нет?*

Я не уверен, что это важнее для русских, чем для американцев. Мне хотелось бы думать, что это важно для обеих стран. Например, я рассказываю там о моих «взаимоотношениях» не только с КГБ, но и с ЦРУ, и с ФБР. Когда я вел свои исследования здесь, в Советском Союзе, оба эти агентства, КГБ и ЦРУ, создавали мне проблемы. И те и другие хотели, чтобы я работал с ними.

— *Вы это чувствовали?*

Ха! Чувствовал?!

— *И здесь тоже?*

Хо!

— *Ну там — понятно. Там — это я понимаю, а здесь?*

Особенно здесь! Например, был очень интересный случай. Я сидел в гостинице Академии наук, и вдруг зазвонил телефон. Человек сказал: «Профессор Грэхэм! Мы знаем, что вам очень интересна история естествознания в России. У нас очень любопытные источники. Можете ли вы встретиться с нами? Мы хотим показать вам кое-что».

— *В какие годы это происходило?*

В 1972 году. Я согласился. Они пришли вдвоем. Когда я увидел двух человек, — это уже заставило меня насторожиться. Мы поехали в ресторан в Подмоскowie. Позже я узнал, что это был санаторий КГБ. И эти двое были из КГБ, — они этого не говорили, но я понял. И они сказали: «Мы знаем, что вам очень интересна история естествознания в Советском Союзе в двадцатых — тридцатых годах. Смотрите, что мы можем вам дать». И показали мне изданную в СССР в тридцатые годы стенограмму суда над Бухариным. Здесь она была только в спецхранах, но в Америке ее можно получить во всех крупных библиотеках. Но я подумал, что, наверное, там, в стене, есть потайной фотоаппарат, и если я возьму эту книгу, это будет сфотографировано, и потом они скажут: «Профессор Грэхэм! Видите, что у нас есть? Ваша фотография с этой книгой. Теперь вам надо работать с нами». И я сказал: «Мне не нужна эта книга. Я не хочу с вами говорить. Я уезжаю». И они ответили: «Это невозможно. Москва в двадцати километрах отсюда, такси здесь нет. Вы здесь, и вам придется с нами говорить». Тогда я сказал: «Мне надо в туалет». И вышел. Там был длинный коридор, а в нем окно. Я выпрыгнул из окна и пошел в сторону шоссе. В кармане у меня были рубли, — тогда рубли что-то значили, десять рублей были приличной суммой. И я показывал десятки

поезжавшим автомобилям. Один остановился, и я сказал: «Пожалуйста, в гостиницу». На следующий день я улетел в Америку.

В следующий раз, когда я попросил визу, чтобы вернуться в Советский Союз, мне отказали. Тогда я позвонил в советское посольство в Вашингтоне и спросил: «Почему вы не разрешаете мне опять приехать в СССР?» «Мы можем сказать только, что “You are not welcome in our country”». Как это сказать по-русски?

— *«Вы не желанны в нашей стране».*

И после этого, после того, как я отказался работать на КГБ, прошло пять лет, прежде чем я смог опять приехать. А случилось это так. Президиум Академии наук пригласил делегацию из Америки, включавшую двух американских ученых — лауреатов Нобелевской премии. Все они послали заявку советскому посольству на получение визы. Их было восемь или девять. И семь или восемь получили визу, а Грэхэм — нет. Почему? Он нежеланный гость — «is not welcome in our country». И тогда все остальные члены делегации сказали: «Если профессор Грэхэм не может поехать, мы тоже не поедem». Двое из них были очень известными учеными. И мы все ждали. И в конце концов я получил визу. После этого я был здесь много раз без всяких трудностей.

Но если говорить о моих «отношениях» с разведорганами, то надо припомнить не только КГБ, но и ФБР. Первый раз я был здесь в 1960 году. И после того как я вернулся, — тук-тук в дверь. Два человека: «Мы из ФБР. Хотим поговорить с вами о вашем визите в Советский Союз. Вы согласны с нами побеседовать?» Это было впервые, мне было двадцать шесть лет, и я согласился. Вопросы были такие: «Вы видели военные объекты? Вы видели оружие, когда были в Советском Союзе?» Я не видел. И было очень легко

ответить «нет». Они ушли. Но в следующий раз, когда я вернулся после второго визита, снова — тук-тук в дверь. Два человека. «Профессор Грэхэм! Мы хотим поговорить с вами о вашем визите». И я понял, что после каждой поездки в Советский Союз мне будут наносить визиты из ФБР. Мне надо было ответить на вопрос, согласен ли я быть неофициальным агентом ФБР и ЦРУ. Я хотел быть ученым. Я не хотел быть агентом. Если вы хотите быть агентом, надо работать в разведке, а не в науке. Но я по призванию профессор. И в следующий раз, когда они вошли, я сказал: «Я хорошо понимаю: вы делаете то, что обязаны делать. Это ваша работа. Я не против вашей работы. Делайте вашу работу. Но я не буду принимать в этом участия, и я не буду давать вам никаких интервью». Они ответили: «Это значит, вы хотите, чтобы мы написали под вашей фамилией “отказался сотрудничать”, иными словами: “против нас”». И я сказал: «Нет, я не против вас. Но я профессор, а не агент. И я буду делать свое дело, а вы будете делать свое, но кооперации между нами не будет».

Я хотел бы подчеркнуть, что реакция КГБ и ФБР на мой отказ сотрудничать с ними была разной. Из-за КГБ я пять лет не мог приехать в Советский Союз, это сильно затормозило мои исследования. В Америке же из-за отказа сотрудничать с ФБР, может быть, тоже что-то случилось, может быть, мне был нанесен какой-то урон, — но я об этом не знаю. У меня была хорошая карьера профессора. Я не чувствовал никакого преследования. Я американец, и я думаю, что наше государство было лучше, чем советское государство. Но методы агентов были похожи.

— *Наверное, зеркальная ситуация была бы у «Грэхэма» из Советского Союза. Наверное, к советскому «Грэхэму», если так можно сказать, агенты из американских ведомств могли бы отнестись столь же жестко.*

Я не уверен, что они поступили бы так же жестко.

— *Ваши мемуары — это очень интересно. Я считаю, что их надо издавать параллельно на двух языках.*

Я уже послал эту рукопись издательству в Америке. И они ответили: «Простите, если бы это было десять лет тому назад, мы бы с удовольствием опубликовали это. Но сейчас в Америке интерес к России уменьшается, и нам это неинтересно».

— *Значит, надо издавать у нас.*

Я уверен, что опубликуют. Пока мы не знаем где.

— *Очень жаль. Скажите, о чем я не спросил, какой вопрос не задал? Важный вопрос. Какой бы вы задали себе вопрос, будь на моем месте?*

Я очень хотел бы, чтобы отношения между американскими и русскими историками естествознания были ближе. К сожалению, большинство историков естествознания в Америке еще ошибочно думают, что история естествознания в России — это очень экзотическая тема. Что это не важная составная часть общей истории естествознания. Германия — это да! Франция — это да! Англия — это да! Это страны, где наука родилась, это важно изучать. Но Россия — это другое. И даже когда я писал книги об истории естествознания в России, которые были опубликованы на английском языке, я чувствовал, что, как правило, эти книги читали специалисты по России, а не по истории науки. Я бы очень хотел изменить это положение. И думаю, что единственный способ — это добиться того, чтобы молодые историки естествознания в России хорошо знали английский язык, принимали участие в конференциях и печатались на Западе. Если это случится, то связи между американскими и российскими историками естествознания станут намного теснее. Конечно, такие люди уже есть: Алексей Кожевников, Слава Герович, Ирина Сироткина, Николай

Кременцов. Эти люди есть, но, по-моему, их слишком мало. Когда российские историки начнут говорить с американскими или европейскими историками естествознания на общие темы — например, об истории физики, истории биологии, истории химии, — постепенно американские историки поймут, что российские историки составляют важную часть мирового сообщества историков науки. Как это сделать? Если я могу помочь, — я готов. Возьмите, например, гранты на поездки (travel grants). Это маленькие гранты, которые дают для того, чтобы российские историки естествознания могли принимать участие в конференциях на Западе. Я мог бы написать западным фондам и попросить их выделять больше таких грантов на поездки, и в таких заявках можно ссылаться на меня как на рекомендателя.

— *Вы давний друг нашего института. Вы сыграли очень важную роль в судьбе нескольких российских специалистов. Вы называли Кожевникова, Геровича, Сироткину и других. Вы член редсовета нашего журнала... Не могли бы вы выразить свое отношение к нашему институту, к журналу? Вы же не просто формальный член редсовета, вы еще и автор этого журнала...*

Это хороший институт. Я хорошо знаю книги, статьи ваших сотрудников. Они мне очень полезны, они вообще очень ценны. Но, по-моему, ваш институт недостаточно известен на Западе. Я надеюсь, что это положение изменится, и я хотел бы помочь в этом.

Что касается журнала, то я считаю, что в последние годы он стал очень интересным. Я получаю «Вопросы истории естествознания и техники» и регулярно читаю каждый номер. Нередко мне попадались в журнале интересные статьи, и я использовал их. Но, к сожалению, мало людей на Западе читают на русском языке. Может быть,

лучше всего было бы публиковать этот журнал и на русском, и на английском языках. Это было бы большое событие. Но это очень трудно сделать.

— *Это очень дорогое предприятие.*

Очень дорогое. Но английский сейчас — международный научный язык. И очень часто немецкие и французские историки естествознания не только читают, но и публикуются на английском языке. Сколько историков науки в Америке знают, как полезен журнал «Вопросы истории естествознания и техники»? Очень мало. И это относится не только к истории естествознания здесь, истории российской науки, но и к общей истории естествознания.

Я хорошо знаю, что ваши историки пишут интересные работы по истории науки во Франции, в Америке, в Германии и так далее. Но результаты этих исследований, к сожалению, очень мало известны на Западе.

— *Спасибо за беседу.*

*Беседу вел С. С. Илизаров
при участии М. В. Мокровой*

22 мая 2003 г.

Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН

Транскрипт М. В. Мокровой

*Авторизация текста Л. Грэхэма
при участии В. А. Геровича*

P.S. 29 июня 2003 г. Лорену Грэхэму исполнилось 70 лет.

В день его юбилея вместе с первым вариантом расшифровки записи па-

мятной беседы мы послали выдающемуся американскому историку российской науки такое приветствие:

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ

ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ

им. С. И. ВАВИЛОВА

103012 г. Москва, Старопанский переулок, д. 1/5. Телефон: (7-095) 921-8061, Факс: (7-095) 925-9911.
Интернет: <http://www.iht.ru>, e-mail: postmaster@history.iht.ru



ПРОФЕССОРУ ЛОРЕНУ ГРЭХЭМУ

Дорогой Лорен!

В день Вашего юбилея примите искренние пожелания крепкого здоровья, многих лет творчества, новых исследований и книг!

Вы не только выдающийся ученый и лучший знаток истории науки в России, но замечательный товарищ, щедро одаривающий своим вниманием и поддержкой.

*С глубоким уважением
от имени сотрудников*

*Института истории естествознания
и техники Российской академии наук*

С. Илизаров